

УДК 316.6

Г. А. Мухина

РУССКИЕ КРИТИКИ XIX ВЕКА О РУССКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

На основе литературно-критических статей А. А. Григорьева и Н. Н. Стрехова исследуется содержание и компоненты национальной идентификации русских писателей золотого века. Оба критика показывают, как через творчество, образы героев и саму личность авторов проявляется характер русского человека и русского народа.

Ключевые слова: писатель; художественное произведение; образ; идентичность; русский народ; русский человек; европеец.

G. A. Mikhina

RUSSIAN CRITICS XIX CENTARE ABOUT RUSSION IDENTITY

On basis critical-literary article bu Apollon Grigoryev and Nicholas Strahov investigate to a content and components of Russian writers of "the Gold epoch". Critics shows as through a creation, images of literary heroes and a person of autors manifested a character of Russian man and Russian nation.

Keywords: writer; art writing; image; identity; Russian nation; Russian men; Europeen.

После 1812 г. в русском обществе стало интенсивно просыпаться национальное самосознание, что отразилось и в национальной литературе, и литературной критике, и чему они сами способствовали. Постигание критиками русскости, национальной идентичности шло разными путями: через осмысление художественных произведений, их образов, через сопоставление литературы и жизни общества, народа, наконец, через анализ самой личности писателя и своей собственной. Убедительные свидетельства этого процесса представлены в статьях А. А. Григорьева (1622–1864) и его последователя и ценителя Н. Н. Стрехова (1828–1896).

«Лучшее украшение нации – лица, богатые дарованиями и самобытностью», – утверждал К. Леонтьев. «Аполлон Григорьев был и сам лицо, и все сочинения его дышали особенностью, и несколько недосказанное направление его было – искание прекрасного в русской жизни и русском творчестве». Он «искал поэзии в самой русской жизни, а не в идеале; его идеал был – богатая, широкая, горячая русская жизнь, если можно, развитая до крайних своих пределов и в добродетелях,

и даже в страстной порочности», – так писал мыслитель Н. Н. Стрехову, не отрицая «наше, полу-европейское недавнее прошедшее», к которому, однако, невозможно «относиться без теплоты», потому что «в нем мы видим элементы, без которых не может обойтись богатая национальная культура и жизнь; мы бы желали только, чтобы эти общие элементы приняли бы более русские формы». Леонтьеву нравилась и наружность литератора: «его плотность; его добрые глаза, его красивый, горбатый нос; покойные, тяжелые движения, под которыми крылась страстность. Когда он шел по Невскому в фуражке, в длинном сюртуке, толстый, медленный, с бородкой; когда он пил чай и, кивая головой, слушал, что ему говорили, он был похож на хорошего, умного купца, конечно, русского, не то чтобы на негоцианта в очках и стриженных бакенбардах!» [1]. Стрехов добавлял к этому портрету свои любования: он был среднего роста, с прекрасной наружностью, поражавшей «соединением силы и грации; в нем была грандиозность, так шедшая к его напряженной натуре». Серые глаза с необыкновенным блеском. Нос орлиный.

Руки были «малы, нежны и красивы, как у женщины» [2].

Сам же А. А. Григорьев как русский человек нашёл наилучшее воплощение русскости в нашей литературе: это А. Пушкин – «единственный полный человек, единственный всесторонний представитель нашей народной физиономии», потому что ему «было дано непосредственное чутье народной жизни» и «любовь к народной жизни». «Пушкин не западник, но и не славянофил», а «русский человек, каким сделало русского человека соприкосновение со сферами европейского развития». Почвенность его коренилась в языке: он «свято чтит народ, религиозно боялся солгать на народ, на склад его мышления, чувства, на способ его выражения... Видно, глубоко запали в эту великую и восприимчивую душу сказки няни Ирины Родионовны». Дочь Бориса Годунова Ксения в его драме плакала о своём женихе «русским песенным складом», без всяких украшений: «Милый мой жених, прекрасный королевич...» [3, с. 201, 203, 207–208].

У Григорьева были основания судить так, ибо он сам рано изучил «все тонкости крепкой русской речи» и от кучера Василья наслушался сказок о батраках и их хозяевах, и этого кучера он считал «своим воспитателем», почти наполовину равным своему первому учителю [4]. Отсюда его негодование против фальши литературных романов о русской жизни. Он недоумевал, что М. Н. Загоскин как романист пользовался «совершенно невероятным и необъяснимым» успехом. И хотя этот автор – «одно из отраднейших явлений нашего старого быта, натура в высшей степени нежная и добродушная, хотя и ограниченная», но он имел «карикатурное понятие» о быте предков и быте народа – испытывал «любовь к застою» и умиление перед ним, признавая в народе «одно только свойство – смирение». Притом «смирение вовсе не в славянофильском смысле, смысле полнейшей общинности и законности, а в смысле простой бараньей покорности всякому существующему факту», «совершенно спокойное отношение ко всякому самодурству». Чем дальше, тем все ярче выступали в его произведениях черты «невежественного барства и умиления перед пошлостью доброго старого времени». Это вызывало у крити-

ка протест: «Бедный русский человек! Его показывали нам или нравственным евнухом, или дворовым скоморохом, или Юрием Милославским, или Торопкой Голованом!»

Хотя, по мнению критика, М. Н. Загоскин следует карамзинским представлениям о народности, однако ему было далеко до Карамзина, «Марфа Посадница» которого, «не смотря на ходульность и ложь, имеет в себе что-то человеческое и благородное, и при всем отсутствии понимания народности не клеветает так на народ, как сцены в Нижнем “Юрия Милославского” или сцены в Москве 1812 г. “Рославлева”...» [3, с. 210–211, 215]. Романы Загоскина «изображали понятия и нравы екатерининских времен, с подделкой под язык простонародья, без малейшего знания этого языка» [5, с. 191].

Карамзин для Григорьева – это пример двойственной идентичности: русской и европейской. До 1812 г. он является «первым вполне живым органом общеевропейских идей, и его деятельность впервые прививает их к нашей общественной и нравственной жизни». И он был «первый живой и действительный талант в русской литературе». Его «Письма русского путешественника» – «книга удивительная». «Впервые русский человек является в ней не книжно, а душевно и сердечно сочувствующим (не то что записки Фонвизина о путешествии – «гениально-остроумные заметки» «дикого человека»). «В Европу из далекой гиперборейской страны впервые приехал европеец, и впервые же русский европеец передал своей стране свои русско-европейские ощущения, передал не поучительным, докторальным тоном, а языком легким, общепонятным...» «Письма русского путешественника», а затем и сентиментальные повести Карамзина «перевернули нравственные воззрения общества», образованной его части, способной к развитию. Карамзин как «великий писатель» «вполне русский человек, человек своей почвы, своей страны» предъявил к жизни, его окружавшей, требования высшего идеала, выработанного жизнью остального человечества, но этот идеал оказался несостоятельным. И Карамзин «обманул современную ему действительность», ибо «талантливый человек сам себя способен обманывать»: став «историком Государства Российского», он «подложил

требования западного человеческого идеала под данные нашей истории, он первый взглянул на эту странную историю под европейским углом зрения». Карамзин смотрит на нашу историю так же, как современные ему западные писатели на события истории западного мира, иногда даже глубже. В этом его слабость и его сила, даже перед современниками. У него еще нет мысли, что «мы – племя особенное», нежели другие племена человечества. Идеи эпохи он привносит в русскую историю, и это делает его историю, несмотря на недостатки, «одним из вечных памятников нашего народного развития», «пробным камнем нашего самопознания». Мы «с нею росли, ею мерились с остальной Европою, мы с нею входили в общий круговорот европейской жизни». Его история, в первых томах чуждая мирозерцанию наших летописей, в последующих же крепнет, вплоть до преобразования в летопись в последнем, и «чем более сливается он со старой Русью, тем более становится он русским; он все-таки русский европеец, он участник великой жизни, совершавшейся на западе Европы». Если Жуковский был «наш отзыв на всю поэзию Запада», то Карамзин был «наш отзыв на всю кипучую умственную деятельность западной жизни. В них обоих сказались наши силы понимания, силы сочувствия...» [5, с. 183, 184, 186, 187, 188].

Карамзин, нуждаясь «в целостном представлении», взял за основу западные формы «доблести, величия, чести», на которых он воспитался и которыми глубоко проникся. «Как впечатлительнейшая натура своего времени», пропитанный «общими началами европейского образования», Карамзин был захвачен общечеловеческим развитием и «бессознательно последовательно» прилагал его начала к нашей истории и быту, к нашей народности. Глубоко изучавший источники, постоянно, однако, он «обманывает сам себя и своих читателей аналогиями и постоянно скрывает сам от себя и от читателей все не аналогическое с началами и явлениями западной, общечеловеческой жизни» [5, с. 196].

А. Григорьев вполне разделял мнение П. Чаадаева, отрицающего фальшивые представления о народности, однако укорял его: «Вместо того чтобы сказать как аналитик: «Русская жизнь, как и русская история,

не подходят под те рамки общеевропейской жизни и общеевропейской истории, под какие подвёл их Карамзин: следует поэтому поискать в русской жизни и в русской истории особенных свойств и законов, на основании которых выведены будут или положительные различия, или более правильные аналогии с европейской жизнью и европейской историей». Но Чаадаев прямо сказал, что «в нашей жизни и истории нет никакой аналогии с общечеловеческим, законным развитием», как у племен, отпавших «от целостности, от единства с человечеством». Вместе с тем критик защищал Чаадаева от тупоумных обвинений «Маяка», так как его вопрос был «не мозговым, а сердечным», и находил аргументы: «для Чаадаева идея единства человечества облечена была в красоту и величие католицизма», которым он увлекался «с жаждою веры», воспитанием же своим он был «совершенно разобщён с бытом своего народа», прельщённый католицизмом и его идеалами. «Удержаться в границах как Пушкин, он не мог: он обладал только отрицательной стороною пушкинского духа, а не носил в себе, как наш великий поэт, непосредственного чутья народности». При этом А. Григорьев пояснял, в чём заключалась ошибка западничества: «Мрачную доктрину добродушного Загоскина считало оно за народное созерцание, клеветы на народность драм Кукольника и Полевого за выражение народности...» [3, с. 209, 210, 220–221].

То же и у романиста Лажечникова: в его «Ледяном доме» «всё фальшиво (кроме чисто исторических фигур и притом тех, к которым автор относился без страстного участия)». Зато в его персонаже Волынском – «неверном исторически, неверном, пожалуй, и психологически – сколько удивительно угаданных черт русского человека, до того поэтических и вместе истинных, что доселе еще Волынский Лажечникова – единственный тип широкой русской природы, поставленной в трагическое положение». И в подтверждение он вспоминал такие сцены: «вставай народ», «умирай народ», сцену пирушки, ночную прогулку с ямщиком, сцену свидания с женою, «беспощадно обличающую всю бесхарактерность широкой русской природы, весь недостаток “выдержки”, ей свойственный». Таковы были его впечатления от этой «могучей и бесхарак-

терной, широкой и вместе развратной личности» [3, с. 230].

Григорьев приходил в изумление перед пушкинским «удивительным народным чутьём и перед величием его гениальной силы» в «Борисе Годунове», перед его высокой степенью владением народной речью (отрывок о Медведице), перед глубоким пониманием и комических пружин быта русского человека («Летопись села Горохина»), и трагических (кузнец в «Дубровском», Емельян в «Капитанской дочке», пир Пугачева), ни разу не позволяя себе написать какую-либо повесть с «народными» разговорами. В этом для него Пушкин был даже лучше, чем Островский («так полно знающий натуру русского человека»). И все его друзья тоже отличались «положительным, непосредственным тактом народности», как Языков в его «великолепной драматической сказке» о Жар-птице, которая «по языку и тонкости поэтической иронии – совершенство» [3, с. 204, 207, 208].

В начале 50-х гг. XIX в., «в пору начала второй и самой настоящей» своей молодости, в пору, когда восстанавливалась обновленная вера «в грунт, почву, народ, в пору воссоздания в уме и сердце всего непосредственного, что только по-видимому похерили в них рефлексия и наука», Григорьев признавался: «Я оживал душою... я верил... рвался навстречу к тем великим откровениям, которые сверкали в начинавшейся деятельности Островского, к тем свежим ключам» в вещах Писемского [4].

В 1861 г. Григорьев обращается к «эпохе» Белинского, когда отечественная критика стояла «почти всегда по духу своему» вровень с германской и «неизмеримо выше» французской, когда литература была «всё для нас», когда убеждения «гениального» критика только и могли считаться «благородными и современными убеждениями и взглядами» [6]. Он обращается, чтобы вникнуть в его понимание народности и понимание русского народа, к его статье в «Телескопе» Надеждина (1835) и цитирует автора со своими акцентами: «Я душевно люблю православный русский народ и почитаю за честь и славу быть ничтожной песчинкой в его массе; *но моя любовь сознательная, а не слепая*. Может быть, вследствие очень понятного чувства, я не вижу пороков русского народа, *но...*

не... его странностей». А главная странность вообще русского человека? «*В каком-то своеобразном взгляде на вещи и упорной оригинальности*. Его упрекают в подражательности и бесхарактерности... но этот упрек неоснователен... “Русскому человеку” *“вредит совсем не подражательность, а напротив – излишняя оригинальность”*... он никогда не подражал, *а только брал из-за границы формы... и отливал в эти формы свои собственные идеи, завещанные ему предками*». Григорьев признавал глубину его замечания о двойственном свойстве русской природы, но и упрекал: вместо того чтобы искать причины «уродливых внешних явлений», он только подводит их «под немилосердный суд западного идеала человека и человечности». Белинский не сознавал сам, насколько непреложность идей, завещанных предками, и внешние формы свидетельствовали «в пользу самобытности народной жизни», что требовало «внимательного углубления в сущность этой самобытности». Отсюда Григорьев заключал, что «основной принцип убеждений Белинского и за ним всего западничества – принцип чисто отрицательный – ненависть ко всему непосредственному, ко всему природному или, лучше сказать, прирожденному», и не соглашался с ним в том, что «только отрицанием нашей самости мы вступаем в семью человечества, что истории у нас нет до Петра и до реформы» и что до славян «нам нет дела, потому что они не сделали ничего такого... что наука могла бы видеть в их существовании факт истории человечества» (1845 г.). И он подтверждал это доводами самого Белинского, согласно которым выходило, что русские – «наследники целого мира, не только европейской жизни... не должны... быть англичанами, ни французами, ни немцами», *потому что должны быть русскими* и взять «как свое все, что составляет исключительную сторону жизни каждого европейского народа», «*как элемент для пополнения нашей жизни*»: у англичан – их промышленность, универсальный практицизм, у немцев – науку, у французов – моду, формы светской жизни, кухню, учась у них любезности и манерам.

По мнению Григорьева, Белинский приносил народное в жертву общечеловеческому и постепенно терял «всякое сочувствие к на-

родной, непосредственной, безыскусственной поэзии, не только к нашей и славянской в частности, но ко всякой вообще». Отсюда – «все его выходы против народности вообще, против нашей народности, против возможности местной малороссийской литературы и поэзии, против значения Востока в человечестве...» Это имело прямое отношение к самоидентификации. По Григорьеву, нельзя быть русским, не будучи славянином, иначе разрываются «связи со своею сущностью», что ведёт к космополитизму. Но доктрину Белинского, по мнению Григорьева, опровергали сами факты: Т. Шевченко, исследования Буслаева, сочувствие общества к народности. Заблуждения Белинского коренились в его исторических взглядах, в идее «отвлеченного человечества». Вот и на Грозного – «вполне русскую личность», «не имея под рукою ни фактов, ни красок для этой фигуры», он набросил «общий байронический тон» [7, с. 241, 242, 244, 245–246, 253, 254, 258, 259, 263, 265, 267, 268, 269]. Григорьев не может простить Белинскому и попытку развенчать «девственно чистый и целомудренный лик Татьяны, – до сих пор еще самый полный очерк русского женственного идеала», попрекавшему ее «сухостью и холодностью сердца» (В. Г. Белинский. Сочинения Александра Пушкина (статья девятая)) [8, с. 141].

Однако Григорьев признавал, что «высокое художественное чутье» «выручало его почти всегда и, составляя главную его силу, делало его постоянно вождем жизни, а не служителем теории». «Все заблуждения, промахи, неистовые увлечения Белинского исчезали, сгорали в его огненной речи, в огненном чувстве, в возвышенном, ярком и истинно поэтическом воззрении на жизнь и искусство». Ему было присуще высшее свойство натуры: «неспособность закоснеть в теории против правды искусства и жизни» [7, с. 271, 272].

Григорьев оспаривал утверждение западничества, что Петр I «вдвинул нас в круг мировой общечеловеческой жизни», ибо речь шла о том, чтобы «заставить нас повторять чужую жизнь» и «рабски продолжать ее в науке, и еще в быту». Однако «в природе вообще нет и не может быть повторений, что ни один лист не похож на другой на дереве, что не было племени, кроме племен, совер-

шенно отчужденных от человечества, которое бы не внесло чего-либо своего в мировое движение». Здесь же «целый особый отдел индоевропейской расы – славянство, отдел столь же значительный и древний, как эллины или его любимое германство» [5, с. 170–171]. Современный исследователь русской философии признавал: «Григорьев был первым в русской философии (и, полагаю, так же и в европейской), кто совершенно ясно отвергнул какое-либо поклонение идолу «человечества» и не просто отвергнул, но и разоблачил этого идола силою самостоятельной мысли» [9].

Григорьев ищет в русской литературе истоки народности и находит в книге «Хождения и странствия инока Парфения». Он пишет об этом Достоевскому: в 1854 г. появилась «книга глубоко искренняя, полная силы и неотразимого обаяния», совершившая «немало нравственных потрясений», которая ударила «по одной из самых глубоких струн души русского человека, по той аскетической струне, которая создала изумительно поэтические обращения к “матери-пустыне” – изумительное же поэтическое мирозерцание духовных стихов». Книга «смирненного инока и постриженника горы Афонской», «высоко талантливая», была, кроме того, «вещью совершенно народною», сохранившей «растительную, коренную связь с бытовыми старыми началами» и «будто что-то от живой энергической речи протопопа Аввакума», так как речь его представляла «какую-то странную и, пожалуй, пеструю, но обаятельно наивную и живую смесь книжного (и даже невежественно книжного) языка с живым народным». Книга служила «нагляднейшим фактом неразрывности органической народной жизни от XII столетия до половины XIX, цельности, неприкосновенности духовных начал», потому что она была «не что не деланное, а растительное, как легенда, гимн, песня», и корни этой книги следовало бы искать в прошедшем: вплоть до хождения паломника XII в. игумена Даниила. И не надо бояться за человечество, что «оно все уйдет в пустыни и дебри», а следует бояться тогда, «когда совершенно пусты будут пустыни и дебри, когда оборвется эта струна в его организме, заглохнет эта ненасытная жажда идеала, высшего, Бога, влекущая подчас

в пустыни и дебри...» Сам-то он был «слишком твердо убежден, что никогда эта струя не иссякнет, эта великая жажда не насытит-ся», только следует «не учить жизнь жить по-нашему, а учиться у жизни» [8, с. 150–153].

Поиск идентичности был сопряжён у критика с сопоставлениями авторов и их героев. Определяя Лермонтова как завершителя эпохи «русского романтического брожения» [10], Григорьев находил и в самом Лермонтове, и в его Печорине свойства русской природы, которые доходили «до безвыходной хандры, до лермонтовского ожесточения и зловещих предчувствий, до тургеневского раздвоения и расслабления, а в сферах более грубых – до полежаевского цинизма и до запоя Любима Торцова». Печорин был для него одним «из самых ярких отражений» того типа, в котором выразились «все “необъятные” силы нашего духа» и который «всегда будет увлекать тем, что в нем есть физиологически нашего, а именно – брожением необъятных сил» и «почти демонского холода самообладания». В лермонтовских героях «чуются люди иной титанической эпохи, готовые играть жизнью... затем ли, чтобы оставить по себе страничку в истории, или просто так, из удали». Этим-то Печорин «не только был героем своего времени, но едва ли не один из наших органических типов героического». Другим же типом критик считал «тип смиренного человека». И оба они сложились «в нашем душевном мире» [11].

Как человек постоянно читающий, Григорьев высоко ценил книжную культуру и так определял её значение и для развития личности, и для общества: «Книги для нас не просто книги, предметы изучения или развлечения: книги переходили и переходят у нас непосредственно в жизнь, в плоть и кровь, изменяли и изменяют часто всю сущность нашего нравственного мира... Поэтому-то самому всякое идеальное переходя у нас непосредственно в нечто реальное, сообщало доселе умственным эпохам нашего развития особый цвет и запах» [12, с. 285]. Тем самым критик видел в литературе важнейший способ самоопределения, самоидентификации, самовоспитания.

Печоринский тип Григорьев (он ему наиболее близок по духу) явно предпочитает и его воплощение он находит в других образах,

созданных русскими писателями: Пушкиным – в «гордой, вольнолюбивой и вместе восточно-эгоистической и ревнивой» натуре Алеко; у Тургенева – прежде всего «демонски-унылого», «со зловещим блеском» Василия Лучинова из «Трёх портретов» (ему критик придавал «особенную важность, потому что в нём «старый тип дон-Жуана, Ловласа... принял впервые наши русские, оригинальные формы, формы нашего русского XVIII в.»), у Островского – это Любим Торцов и Петр Ильич, у Писемского – «Тюфяк». На его взгляд, «в этот тип вошли наши лучшие соки, наши положительные качества, наши высшие стихии, и в артистически-тонкую, мирскую жажду наслаждения пушкинского Жуана, и в критическую последовательность печоринского цинизма, и в холодное, северное самообладание при бешеной южной страстности Василия Лучинова, и в “прожигание жизни” Веретьева, и загул Любима Торцова». Только эти стихии находились «в состоянии необузданном». И все попытки «окончательно победить обаятельный тип, который в лице Печорина сознает в себе “силы необъятные”, растрачиваемые им на мелочи, тип сильного страстного человека», оказались несостоятельными. Для Григорьева немыслимо предпочесть обаятельному Печорину «очень хорошего» Максима Максимыча: «ведь он тупоумен и по простой натуре своей и не мог впасть в те уродливые крайности, в которые попал Печорин» [11].

Критик аргументирует эти предпочтения: «Мы были бы народ весьма нещедро наделенный природою, если бы героями нашими были пушкинский Белкин, лермонтовский Максим Максимыч и даже честный кавказский капитан в «Рубке леса» Толстого. Значение всех этих лиц в том, что они – критические контрасты блестящего и, так сказать, хищного типа», и – «в протесте всего смиренного, загнанного, но между тем основанного на почве в нашей природе, – против гордых и страстных до необузданности начал, против широкого размаха сил, оторвавшихся от связи с почвою». «Придать этой стороне души нашей значение исключительное, героическое – значит впасть в другую крайность, ведущую к застою и закиси. Максим Максимыч и капитан Толстого – люди, конечно, очень честные и без всякой по-

хвальбы храбрые», «но с ними немыслима никакая история. Из них не выйдут, конечно, Стеньки Разины, да зато не выйдут и Минины. Увы! На одних добрых и смиренных людях... далеко не уедешь. Для жизни страстное начало нужно, закваска нужна» [13, с. 524]. Не признание ли это одной из важнейших черт русской души – её страстности.

Соглашаясь с Белинским, что Пушкин – русский человек, человек русского мира, Григорьев уточняет, что «натура Пушкина сохранила в себе живую струю народной, широкой и общей жизни, способность и понимать эту живую жизнь, и глубоко ей сочувствовать и временами даже с нею отождествляться». Натура Пушкина была «по преимуществу синтетическая, одаренная непосредственностью понимания и целостностью захвата». Если Ф. Достоевский представил равно два типа – и тип страстный, и тип смиренный, Пушкин «понимал это синтезом – и синтезом создал и «Русалку», и Пугачева в «Капитанской дочке», и старика Дубровского» [13, с. 535, 537–538, 540].

Особое место в череде литературных персонажей, которые проходят сквозь эпохи, критик отводит Чацкому. Он «до сих пор единственное героическое лицо нашей литературы», «прежде всего – честная и деятельная натура, притом еще натура борца, то есть натура в высшей степени страстная», «правдивая», как старик Гринев, старик Багров, старик Дубровский. «Чацкий, кроме общего своего героического значения, имеет еще значение историческое. Он порождение первой четверти русского XIX столетия, прямой сын и наследник Новиковых и Радищевых, товарищ людей вечной памяти двенадцатого года, могущественная, еще глубоко верящая в себя и потому упрямая сила, готовая погибнуть в столкновении со средою, погибнуть хоть бы из-за того, чтобы оставить по себе “страницу в истории”... Ему нет дела до того, что среда, с которой он борется, положительно неспособна не только понять его, но даже отнестись к нему серьезно» [14, с. 303–304, 308]. Последняя фраза не есть ли доказательство того, что только единицы, меньшинство, не иначе как отдельные представители благородного сословия, интеллигенции, только и способны выразить национальную идентичность.

Оценки критика соответствуют его представлениям об идентичности русских: «Мы народ какой-то неумный, какой-то грубо-первобытный народ. Мысль у нас не может еще как-то разъединиться с жизнью»; люди «чисто русского закала» – это люди «с серьезной жаждой мысли и жизни», способные «прожигать жизнь или ставить ее на всякую карту» [4]. В этом признании немало чисто личного: известно, что его собственная «неряшливо-разгульная» жизнь в бедности, долгах и беспорядочности [1, с. 9, 21] не подчинялась общепринятым правилам. Он утверждал, что русская натура «с богатыми стихийными началами и с беспощадным здравым смыслом» «верит в свою стихийную жизнь» и способна «доходить до крайних пределов». И Пушкин «всё наше переживал» как цельная русская натура [15, с. 170, 172, 176]. Однако и крайности русского человека находили у критика свои объяснения: мы «разоблачаем безжалостно и даже иногда легкомысленно безжалостно заветнейшие чувства наши, посмеиваясь над ними и над многими дорогими образами», что происходит «от глубокого, вполне русского, то есть цельного увлечения великими идеалами» [16, с. 457]. Тем самым он признавал духовность как высшую планку крайностей.

Григорьев как человек русский проверял национальную идентичность связанностью с Европой и поражался очередной крайностью – «нашей удивительной» способностью отречься от своей собственной жизни в пользу всякой чужой – «из боязни показаться не европейцами». Он сетует: «Зная тогда много лишнего чужого, мы решительно не знали ничего своего, ни нашего быта, ни нашей истории, ни наших преданий. Напротив, мы считали тогда каким-то шиком не знать ничего своего и всего своего чуждаться». Но интерес общества состоит в том, чтобы отрешиться от «поверхностного энциклопедизма» в пользу глубокого знания – «для развития самобытности, народности, против подражательности и пустого космополитизма» [17]. Потому для творчества необходимо принять одно как заповедь: «Истинная существенная сила явлений искусства» заключается «в органической связи с народностью». При этом идея национализма в искусстве «вовсе не исключает... “общече-

ловечности”, да и не может ее исключать». «Чем шире развивается национальность, тем более амальгамируется она с другими национальностями». И хотя у нас литераторы – «жантильомы» (дворяне): Пушкин отождествляется, «по какому-то удивительному наитию, с народной речью и даже народным созерцанием», Тургенев весь насквозь проникнут любовью к родной почве. А «жантильомы» Грибоедов, Гоголь, Лермонтов – все они, «неравных сил и неодинакового содержания, решительно не похожи ни на каких писателей других наций; ведь в их физиономию нечего долго и вглядываться, чтобы признать их особенною, русскою физиономиею» [16, с. 459, 478].

Пушкин для Григорьева – уникальный пример соединения европейского и национального начал, к которому критик готов применить более поздние мерки персонажей-антиподов И. А. Гончарова: Обломова и Штольца. Пушкин – «это наше право на Европу и на нашу европейскую национальность» и «право на нашу самобытную особенность в кругу других европейских национальностей» как она «сложилась из напора реформы и осадков коренного быта». Пушкин-Белкин, Пушкин «Капитанской дочки», «Дубровского», «Родословной» – выразитель «нашей почвы, преданий, реакция нашей родной обломовщины, которая, какова она ни на есть, все-таки жизненней штольцовщины» [18]. Пушкин весь – «стихия нашей духовной жизни, отражение нашего нравственного процесса, выразитель его, столько же таинственный, как сама наша жизнь...» [5, с. 190]. Цитируя отрывок из Путешествия Евгения Онегина по родным просторам («Люблю песчаный косогор, / Перед избушкой две рябины, / Калитку, сломанный забор...»), Григорьев восклицает: «Поразительна эта простодушнейшая смесь ощущений самых разнородных, негодования и желания набросить на картину колорит самый серый, с невольной любовью к картине, с чувством ее особенной, самобытной красоты!» Это и есть «ключ к самому Пушкину, и к нашей русской натуре вообще». Это чувство – «наше типовое чувство» [15, с. 179]. «Пушкин – наше всё», «представитель всего нашего душевного, особенного», «пока единственный полный очерк нашей народной

личности», «везде соблюдавший меру, сам – живая мера и гармония», он является «русскою мерою чувств» – «и к чувству любви, и к женщине». «Все наши жилы бились в натуре Пушкина» [15, с. 166, 177, 184, 212]. И его Онегин – во многом «всё-таки русский человек» [3, с. 202].

Страхов отдаёт должное этим выводам предшественника: «Наша новая литература возникла под влиянием чужих литератур и развилась под их непрерывным воздействием. Самостоятельно и, следовательно, народную она стала только в Пушкине, который поэтому и составляет величайшую задачу для русской критики. Объяснение значения Пушкина есть та центральная точка, с которой Ап. Григорьев смотрел на развитие нашей литературы. Он показал, как пробудилось в поэте наше типовое, народное» [19]. Современный автор Николай Ильин, замечая, что прежде всего русская философия XIX в. утвердилась как «учение о личном самосознании», потом – как национальное самосознание, представление русского народа о себе самом, писал: «Гений же Пушкина состоял как раз в том, что он создал художественный мир, проникновение в который помогает каждому из нас поверить в себя, узнав русские типы в самых разнообразных лицах, населяющих этот мир, узнав среди них и себя, и других, пусть даже сходство будет весьма приблизительным – но достаточным, чтобы уверенно развивать именно себя самого, а не подгонять себя под некий, заведомо недостижимый идеал» [9].

Григорьев нередко соединяет в одно целое и натуру литераторов, и свойства их персонажей, и постигаемую им самим собственную природу, и характер народа. Это позволяет ему увидеть в русской натуре «едва ли не одинаковое, едва ли не равномерное богатство сил, как положительных, так и отрицательных». О наших качествах смирения, незлопамятности он даже не хочет говорить: они «давно призваны всеми, хотя без всякой меры, до пересолу славянофилами», и на них одних, «хотя и действительно прекрасных, качествах мы бы далеко не уехали». Он больше говорит о чертах нашей «богатой стихийной природы», «о ее тревожных, порывающих в широкую даль началах», способности «доходить до крайних пределов», что порожд-

дает «состояние страшной борьбы», как в период русского романтизма. Эта борьба отразилась и в Пушкине – как «момент нашей духовной жизни». В Онегине – «мрачный сплин и язвительный скептицизм» байроновского Чайльд-Гарольда заменился «хандрою от праздности, тоскою человека, который внутри себя гораздо проще, лучше и добрее», который наделен «критическою способностью здорового русского смысла, то есть прирожденною, а не приобретенною критической способностью». Его Дон Жуан – тоже другой – не европейский: тип, который создается «из южной, даже африканской страстности, но смягченной русским тонко-критическим чувством, из чисто русской удалости, беспечности, какой-то дерзкой шутки прожигаемую жизнью, какой-то безусталой гоньбы за впечатлениями» [13, с. 530–532, 534–536]. Критик находит в амбивалентных героях самобытное, национальное свойство, а значит, и обнаруживает способность автора выразить собственную самоидентификацию.

Насмешливость – тоже национальное качество. Русские, «нещадно смеясь над всем», что несообразно с их «душевной мерой», отличаются от других народов, особенно от немцев, «совершенно не способных к комизму», даже в том, что любя праздники и нередко прожигая целую жизнь, не могут «мешать дел с бездельем» [13, с. 530–531].

Вот и родителя своего Григорьев рассматривает в качестве типа: «Отец мой, несмотря на свой замечательный ум и на достаточное, хотя внешнее и потому совершенно заглохшее без пользы для него и для других образование, был по натуре юморист, и юморист, как всякий русский человек, беспощадный» [4].

Сравнивая гоголевский юмор с английским, немецким, критик указывает на неприемлемость для русских европейских мещанских, сентиментальных, подчас пошлых, приторных героев. Русские тоже любят добрые образы. Но для них идеалы правды, красоты и добра в том виде, как они проявляются, например, у Диккенса, «чрезвычайно узки», а его «жизненное примирение» – «довольно неудовлетворительно, чтобы не сказать пошло». Русские не могут любить только за одну доброту, а предпочитают соединять с ней «смышлённость, здоровый ум, из-

вестный юмор», даже с примесью «маленькой грязцы» [15, с. 198].

Утверждая идею народности как органичности жизни, способной победить разлад между западниками и восточниками, Григорьев отстаивал великое значение народной песни как отражение народного сознания, как первобытного источника литературы. Он сам любил исполнять песни, аккомпанируя на гитаре, и разбирался в типах песенного исполнения и исполнителей. Ему доводилось слушать певцов-самородков. И он понял: «Никакие ученые диссертации не разъяснили бы мне характера великорусской песни, как одна ночь этого пения, широкого, могучего, переливающегося тихим огнём по жилам». Он особенно ценил тип «совершеннейший», для поэтической и музыкальной природы которого пение народной песни являлось «служением», ни чем не нарушавшего чистоту мотива. «Весь пламень чувства у него в вибрации голоса, особенным образом, как будто нарочно устроенного для великорусской песни, голоса, способного тянуться долго до бесконечности, подниматься фистулою на высоту и дрожать грудным тембром, колебаться волнообразно и даже ныть, как ноет сердце», – вспоминал он. В отличие от песни европейских народов, для которых она стала «предметом археологического любопытства», русская и славянская песня «доселе живёт и растёт в народе», «родится и живёт как растение». «Русская песня не так легко дается в руки, как другие», «не любит выставляться напоказ», но для того, кто сумел подойти к ней, она «лётся свободно, бесконечно, разнообразно», дышит «свежим воздухом великорусского края» [20, с. 313, 314, 315, 337, 342–343]. Даже в плохой народной песне новых времен вдруг обнаруживается «самый верный исторический такт, самая странная политическая память», что «действует на образованных людей столь ошеломляюще [3, с. 226]. Великорусской песне свойственна размашистость, заунывная или разгульная широкость, что «человек почти совсем поглощён природою» [12, с. 247–248]. Вот и «самые первые песни» Некрасова несут в себе «что-то такое своё, особенное, некрасовское», что «коренится органически в самом существе русской национальности» [16, с. 465].

Его интерес к народной песне объясняет и его взгляд на историческое чувство, которое он ставит выше исторического воззрения. Оно – «наше, помимо нашего ведома приобретенное, в нас живущее, проникающее все наши созерцания и все наши сочувствия». Он искал его определение через его выражение в исторической критике, которая воспринимала литературное произведение как «живой отголосок времени, его умственных и нравственных созерцаний» – «в их преемственной связи и последовательности», сопоставляя и сличая их между собою. Он искал, «что произведение принесло с собою в мир, что в жизни оно угадало, что из жизни отразило, что оно присовокупило своим содержанием и его развитием к общему богатству содержания души человеческой». Таким образом, историческое чувство есть «чувство органической связи между явлениями жизни, чувство цельности и единства жизни» [21, с. 144–145].

Не случайно как критик Григорьев запомнился его современнику, театральному критику Д. В. Аверкиеву больше всего своей теорией «органической критики», согласно которой литература и искусство должны органически вырастать из национальной почвы (отсюда и название «почвенники», которое получили его последователи), и который находил органические черты у Пушкина и Островского. Григорьев «любил все русское просто потому, что оно русское, независимо от других соображений». «Органичная» русскость была для него «абсолютной ценностью» [22]. Так и К. Леонтьев, встречавшийся с Григорьевым 4–5 раз, писал о нём: «Мы часто ищем *русских* лиц. Вот вам одно из них; он был похож только на *русского* и ещё на *себя самого*» [1, с. 26].

Н. Н. Страхов (1828–1896) А. Григорьева считал «истинным создателем русской критики» [23, с. 6], для которого «каждое художественное произведение представляет отражение своего века и своего народа», и существует «неразрывная связь между настроением народа, его своеобразным душевным складом, событиями его истории, его нравами, религиею и прочим и теми созданиями, которые производят художники этого народа» [24, с. 307]. Кроме того, Григорьев видел еще, что все явления литературы име-

ют «один общий корень, что все они суть частные и временные проявления одного и того же духа» и что художественные произведения способны отразить «душевную сущность» народа и вечные требования «души человеческой, ее неизменных законов и стремлений» [24, с. 308]. Сам же Страхов полемизировал с критиком М. А. Антоновичем, который не верил в существование «почвы», считая её девственной, первобытной и наивной, ибо на ней не было «тех колебаний и движений, которые пережили европейские народы» и потому (за исключением незначительного числа образованных людей) русским неведомы «результаты, добытые Европою». Он же отстаивал собственное мнение о почве. Почва – это «те коренные и своеобразные силы народа, в которых заключаются зародыши всех его органических проявлений»: песня ли, сказка, обычай, частная или гражданская форма, органически связанные с народной сущностью, – они могут быть «ненормальными и уродливыми формами народной жизни, а в самых правильных и стройных могут оказаться инородные элементы» [25]. Поэтому нужно уважать его «внутреннюю, духовную жизнь, нужно учиться понимать ее» [26].

Примером такого понимания являлся для него Карамзин. Он писал: «Когда я представляю себе Карамзина, возвратившегося из путешествия, когда вообразу себе этого удивительного юношу, в котором тогда воплотилась наша литература, я не нахожу меры своему восхищению. Это было зрелище очаровательное, ослепляющее; это было чудо едва постижимое». Это человек, который посетил чужие края, но «любит свою родину прежнюю пламенную любовью», он, отличавшийся «всею глубиною и тонкостию тогдашнего образования», и однако «вполне русский, русский до мозга костей». «Какова сила, каково притяжение русской жизни! Какая способность взять у Запада много, очень много – и не отдать ему ничего заветного!» [27]. И далее: «Если еще жива в нас вера в землю русскую, то в какой значительной, в какой огромной мере мы обязаны этим Карамзину! О, тайна славянских народов – кто тебя постигнет? Каким образом в славянском духе – злая едкость и твердая сила сочетаются с голубиною нежностью? Каким образом

наша история, эта, по-видимому, мрачная и страшная история, была всего лучше постигнута человеком сердца беспредельно мягкого и чистого, души славянски-кроткой? Каким образом среди стольких жизненных противоречий этот чудесный человек мог стать образцом своего народа, совершить дела великие, незабвенные?» [27].

Восторгаясь Карамзиным, его прекрасной душой, Страхов воспеваает и «самый дух жизни, столь крепкий, столь бодрый, столь могучий в русском народе», который «способен к удивительному энтузиазму – источнику великих дел, главному нерву исторического развития, корню всякой поэзии, всякой жизни». Царствование Екатерины II и первые годы царствования Александра I Страхов называл временем, «когда по России пронеслось веяние радости, когда наше государство жило некоторым восторгом. Карамзин был одним из выразителей этого восторга». Хотя немало зла было в те годы, «но рядом с этим злом по жилам народа текла сладостная струя гордости, надежды, славы; ужели не безумно и дико смотреть с укоризною и злорадством на это обилие веры, на это чувство силы и счастья, тем более отрадное, чем тяжелее были условия, в которых оно жило и появлялось в великих деяниях, в великих писателях?» Он поражался, «как умеют иногда русские сердца нести возложенные на них тягости, как легко они поднимаются выше временных обстоятельств» [27]. Конечно, пафос Страхова немало подпитывался и литературным «периодом оды», восторг которого он переносил на эмоциональное состояние народа: «Было, следовательно, какое-то очарование, которым жил тогда русский народ; было восторженное настроение, безмерно далеко отстоящее от нынешнего уныния и, очевидно, слишком высокое и напряженное, чтобы удержаться на этой высоте. Разочарование было неминуемо; но оно наступило не вдруг, ибо этот восторг не был мгновенною фальшивою вспышкой, а был органическим явлением, тесно связанным с жизнью всего государства, всего народа» [28, с. 68].

Страхова озадачивал русский характер, который он совсем не идеализировал. Напротив, находил в нём немало неясного и сомнительного. «Непонятною для нас самих силою

держится Русь, с непонятною для нас самих крепостию выдерживает она разные испытания и делает успехи и приобретения. И при каждом таком случае, при каждом испытании, при каждом успехе в нас болезненно пробуждается сознание нашей духовной несостоятельности, и мы восклицаем: “Как мы бедны мыслью и духом!”». Важную роль, по мнению критика, играла такая черта русского нрава, как «постоянная потребность самоосуждения, самообличения и даже самооплевания». «Самодовольство и самовосхваление для нас нестерпимы», напротив, нравится «казнить самих себя, не давать себе ни в чем пощады, прилагать к себе самые высокие требования. Малым нас не удовлетворишь; шаг за шагом мы идти не умеем; подавай нам все сразу, а не то мы и слушать и смотреть не станем. И так как за маленьким гоняться не стоит, а большое не так-то легко дается, то мы и предпочитаем сидеть сложа руки и – ругаться». «Требовательность к самому себе, недовольство собою – конечно, черты прекрасные, подающие хорошую надежду», но могут быть истолкованы «равно и в хорошую и в дурную сторону» [28, с. 42, 43].

В статье «Бедность литературы» (1868) Страхов сокрушается об ущербности нашей духовной жизни: «Мы ничего не достаиваем полного внимания, все считаем пустяками. Презрительно смотрим мы на движение, вокруг нас совершающееся; ни к чему у нас нет теплого, живого участия». Отсюда «бедность уважения и беспристрастия, совершенная потеря способности ценить явления по их достоинствам; а на место ее нам дана одна способность пренебрегать и осуждать», «почти полный недостаток чувства собственной ответственности, того чувства, которое одно может быть плодотворно при таком положении вещей» [28, с. 44]. В литературном Петербурге его также поражало «наше природное зубоскальство, наше неудержимое пересмеивание, основанное на том, что такая уж русская натура, ничего пресного не любит!» [29]. И уныние совсем не идет к русским людям. «Мы, как известно всему свету, народ бодрый и смелый. У нас все можно, все нипочем. Мы гнем не парим, переломим не тужим» [30].

Мерилом народа он считал русскую литературу: «Может быть, окажется, что уди-

вительным образом в этой литературе сказались душевная мощь великого народа, того народа, который Европа до сих пор считает варварами и который в лице своих образованных представителей сам впадает иногда в сомнение и сокрушение относительно своих духовных сил». «Если мы действительно великий народ, если таковы наши надежды и притязания, то наша литература должна представлять задатки великой литературы. Так или иначе, в ней должны найтись черты той силы, которую мы за собою признаем, должны открываться широкие и могучие стремления, достойные великого народа» [28, с. 51]. Таким образом, литература – это носитель идеалов и она способна поднимать свой народ на новую высоту. Тем более что русских писателей отличает честное отношение к делу, строгость к самим себе, они «работают, исполненные какой-то религиозной боязни отступить от правды». Поэтому некоторые произведения нашей литературы могут быть выставлены как «образец всему миру». «Можно поравняться с ними в правдивости, но превзойти их невозможно» [28, с. 55].

Постижение русской идентичности немислимо для него без сравнения с европейцами (довольно скептического): «Больше чем когда-нибудь мы сознаем, как мы далеки от Европы; более чем когда-нибудь мы чувствуем свое бессилие сравнительно с нею». «Европейское просвещение приносит на нашей почве скудные или уродливые плоды, и если мы храним в себе запас какой-то таинственной силы, то вовсе не потому, что успели стать европейцами» [28, с. 64]. Разгадка этой таинственности коренилась, по его предположению, в следующем: «Мы одарены некоторою нравственною самостоятельностью, крепкою, но не ясно сознаваемою». «И по чужим путям мы хотим идти как по своим собственным, и чужим указаниям следовать как своим собственным мыслям» [28, с. 64, 65]. И это вопреки тому, что русские известны «леностию», «неустойчивостию и распушенностию» (хотя и «своими бойкими способностями») [28, с. 64].

По мнению автора, произошло крушение иллюзий: «Мы не жили исторической жизнью Запада, для нас не могли быть дороги формы, в которых она воплощалась. Эта

жизнь являлась нам издали, в общем своем движении, в крупных и общих чертах, и, следовательно, по естественному ходу дел мы становились в отношении к ней в роль судей и созерцателей; мы были чужие для нее и смотрели на нее со стороны»; «мы требовали от Европы полного нравственного мерил, полного всеразрешающего взгляда, совершенно твердого руководящего начала, а ничего подобного Европа нам дать не могла» [28, с. 76, 77]. Хотя, начиная от Петра и до наших дней, оттуда брали «весьма определенный» идеал, чтобы воспитывать детей. Идеал состоял в том, «чтобы походить на людей, то есть на европейцев». Для высших классов – «походить на аристократических парижан и парижанок». Но французы – «нация гордая, надменная своими достоинствами», и никогда не признают русских равными себе, хотя «наши вполне поравнялись с цветом их молодежи и аристократии, завели у себя и академии, и университеты, и гимназии – и все это на иностранный лад, все с единственною целью поравняться с образованными странами». Но в подражании нет идеала, да и у самой Европы нет ясного идеала воспитания [31]. Страхов выражал готовность преодолеть самоуничужение нации.

Вот и Герцен для него – пример разрушения иллюзий: он «наш первый отчаявшийся западник», что стал пророчить гибель западной цивилизации. «Остроумная и глубоко грустная книжка» его «С того берега» выражает «как нельзя лучше положение русского, оторвавшегося от России и вполне убедившегося, что он не может примкнуть к Европе, что жизнь Запада не может его привязать к себе, не дает никакой пищи его душе» [28, с. 78].

Размышляя над явлением нигилизма в России, Страхов обнаруживает здесь не только западные влияния, но и собственную почву («безобразия» русской жизни), что отражаются в таких свойствах русского характера, как: скептицизм, недоверие, отсутствие наивности, насмешливость, бездеятельная, но умная леность, а кроме того, и другие, «более плачевные черты: в русской натуре есть задаток глубокого цинизма, составляющего как бы противовес чистому и высокому энтузиазму, тоже несомненно таящемуся в русских душах». Ясно, что в русском харак-

тере лежат какие-то «непримиренные требования, какие-то одно другому противоречащие стремления»: нам трудно проникнуться к чему-либо «пламенным восторгом», и «ядовитая струйка северного холода» примешивается «к каждому нашему увлечению». Одним словом, это «холодность, доходящая до цинизма» [28, с. 79–80].

Страхов искал вслед за Григорьевым русский образец и тоже находил его в Пушкине: именно в нём заключался «глубокий и сокровенный смысл явлений души человеческой вообще и русской души в особенности», и в поэтическом слове которого, приводит он мнение М. Н. Каткова, пришли «к окончательному равновесию все стихии русской речи» [28, с. 82, 83]. Воспитание и развитие Пушкина под влиянием европейских образцов – «от Вольтера до Байрона» – «способствовало только развитию в нем его поэтического дара, его зоркости и любви к правде, а истинно русская зоркость и правдивость сделали из него несравненного поэта, равного всему, что есть великого в поэтическом мире. Он принес нам чистейшую правду в поэзии, т. е. настоящую поэзию» [28, с. 71].

В его поэзии стали «прямо выражаться инстинкты русского сердца», русская действительность. И самое главное – «Пушкина следует считать великим воспитателем своего народа; он заставил звучать в душах читателей наилучшие струны, какие в них только могли отзываться» [32, с. 158, 164]. При этом душа Пушкина, «доверчивая и нежная» (по собственным его словам), много страдала от недостатков общества, таких как «русское недоброжелательство», «взаимное недоверие», «невежество» и «цинизм» [32, с. 168].

Свою знаменитую речь на открытии памятника А. С. Пушкину в Москве (1880), писал Страхов, Достоевский заключил мыслью, что «в Пушкине ясно сказалась русская *всеобъемлющая* душа, что поэтому его поэзия пророчит нам великую будущность, предвещает, что в русском народе, может быть, найдут себе любовь и примирение все народы земли» [32, с. 176].

Как «консерватор по натуре» Достоевский, «отказавшись от искания на Западе высших руководительных начал», «сохранил любовь и уважение к духовной жизни Европы» [32, с. 181]. Поэтому в его пушкинской

речи всех поразила «одна черта, заслуживающая величайшего внимания», – это «отсутствие злобы в постановке нашей великой распри между западной и русской идеею». Это отразил и его «Дневник», и его романы: «своим художественным чутьем он различал правду и заблуждение, добро и зло», в которых «не столько логически, сколько психологически» выразил свои взгляды «на состояние русских умов и душ» [33, с. 400]. Так, в Раскольникове он представил «широкую русскую натуру, то есть натуру живую, мало склонную идти по пробитым, торным колеям жизни, способную жить и чувствовать на разные лады», «натуру, живую и вместе неопределенную», помещённую в среду, в которой «все помутилось», где не было «священных преданий». В Свидригайлове, несмотря на фантастичность образа, просматриваются знакомые черты «образованного и зажиточного сословия». «Разврат, жестокость с крепостными, доходящая до смертоубийств, тайные злодеяния и отсутствие всего святого в душе – в эту сторону тоже бросались широкие русские натуры, чтобы на что-нибудь тратить свои силы». Так и Раскольников – тоже человек, которому «очень хочется жить, которому поскорее нужен выход, нужно дело». Таких людей «жажда жизни, какой бы то ни было, но только сейчас, поскорее», доводит «до нелепостей, до ломки своей души и даже до полной гибели» [34, с. 106].

Раскольников есть «истинно русский человек именно в том, что дошел до конца, до края той дороги, на которую его завел заблудший ум». Эта черта русских людей «чрезвычайной серьезности, как бы религиозности, с которою они предаются своим идеям, есть причина многих наших бед»: «мы не хитрим и не лукавим сами с собою, а потому и не терпим мировых сделок между своею мыслью и действительностью». Возможно, что «это драгоценное, великое свойство русской души когда-нибудь проявится в истинно прекрасных делах и характерах». Но только не теперь – «при нравственной смуте» в одних слоях общества и «при пустоте» в других «свойство доходить во всем до края так или иначе портит жизнь и даже губит людей» [35, с. 123]. Он заключал, что «глубочайшее извращение нравственного

понимания и затем возвращение души к истинно человеческим чувствам и понятиям» – общая тема романа Достоевского [34, с. 110].

По мнению Страхова, в произведениях Пушкина, Гоголя, Л. Н. Толстого яснее всего, чем во всех рассуждениях историков и публицистов, выражаются и русский характер, с достоинствами и недостатками русского ума и сердца, и смысл движений русской жизни. Критик утверждает, что «словесное искусство у нас более серьезно, исполнено большей жизни и глубины, чем в других странах Европы» [33, с. 401].

Один Гоголь – «гениальный малоросс, серьезный, глубокий, поэтический» – «умел изображать русскую глупость», пораженный «тем ветром в голове, тем отсутствием всякой твердости мысли, которая так часто у нас встречается», что и описал в Хлестаковых, Ноздревых, Кочкаревых. Он изумительно уловил «пустоту ума, неспособность мысли видеть действительность» и в «Ревизоре» и в «Мертвых душах» развернул «грандиозное комическое зрелище», когда целый город потрясают невероятные нелепости [33, с. 402]. Но если в героях Достоевского и Гоголя критику видятся примеры крайностей отрицательного свойства, то у Л. Толстого он находит высшие проявления национального духа.

«Чисто русский героизм, чисто русское героическое во всевозможных сферах жизни» – вот, по его мнению, главный предмет «Войны и мира» и огромная заслуга писателя [36, с. 336]. Л. Толстой первый «победил в своей душе процесс отрицания» и стал творить «образы, воплощающие положительные стороны русской жизни», «первый показал нам в неслыханной красоте то, что ясно видела и понимала только безупречно гармоническая, всему великому доступная душа Пушкина» [36, с. 337].

Так «русские явились представителями идеи народной, – с любовью, охраняющей дух и строй самобытной, органически сложившейся жизни». А на Бородинском поле был поставлен «вопрос о национальностях», и русские решили его здесь в первый раз в пользу национальностей [37, с. 290].

Напротив, в Наполеоне художником представлена человеческая душа «в ее слепоте», в нем «героическая жизнь» не увязывается с человеческим достоинством, ибо

«добро, правда и красота могут быть гораздо доступнее людям простым и малым». В итоге «простые русские люди с такими сердцами, как у Николая Ростова, у Тимохина и Тушина, победили Наполеона и его великую армию» [37, с. 291]. «Мягкий, застенчивый, детски-простодушный и добрый» Пьер Безухов – «самый интересный, самый оригинальный и мастерский тип», созданный Л. Н. Толстым, сочетание смиренного и страстного типа, «чисто русская натура, одинаково исполненная добродушия и силы» [24, с. 325]. В нём яснее всего отразился «нравственный процесс, совершившийся в русских душах», и «чувства, овладевшие тогда всеми», а через встречу с Платоном Каратаевым он постигал, «как русский народ мыслит и чувствует при самых крайних бедствиях, какая великая вера живет в его простых сердцах» [36, с. 330]. Все русские люди, выведенные в романе, их чувства, мысли и желания, их стремление к героическому и понимание героического не укладываются «в те чужие и лживые формы, которые созданы Европою», ибо весь русский душевный строй «проще, скромнее» и представляет «ту гармонию, то равновесие сил, которые одни согласны с истинным величием и нарушение которых мы ясно чувствуем в величии других народов». Под новую русскую формулу героической жизни, выведенной Толстым, подходит Кутузов и не может подойти Наполеон [36, с. 336]. У Кутузова «чисто русская простота», а у Наполеона столько «аффектации, ломанья, фальши» [24, с. 326].

Наконец, «нигде с такою яркостью и силою не выступала русская семейная жизнь, как в «Войне и мире». Николай Ростов, Андрей Болконский, живут «своей особой, лично жизнью, честлюбием, кутежом, любовью», но «дом, отец, семья составляет для них святыню и поглощает лучшую половину их дум и чувств». Семья Ростовых и семья Болконских по их внутренней жизни, по отношениям их членов – такие же русские семьи, как и всякие другие [24, с. 322–323]. А создание двух молодых семей: Пьера и Наташи, Николая и Марьи – это особая история. «Никогда еще не было на свете подобного описания русской семьи», «самой лучшей из всех семей на свете», потому что любовь между мужем и женою – «чистая, нежная,

твердая, незыблемо глубокая, – в первый раз изображена нам во всей ее высокой силе и без единой прикрасы» [36, с. 332].

Заслуги Л. Н. Толстого Страхову видятся в том, что он изобразил «если не самые сильные», то «самые лучшие стороны русского характера», и доказал, что «простота, добро и правда составляют высший идеал русского народа». И его эпопея – «достойное изображение русского народа», «действительное неслыханное явление» [36, с. 340].

Страхов убеждает: «Война и мир» – «прочное приобретение нашей культуры, столь же прочное и непоколебимое», как сочинения Пушкина. Эти приобретения – своеобразные гарантии для общества: «Пока жива и здорова наша поэзия, до тех пор нет причины сомневаться в глубоком здоровье русского народа и можно принимать за мираж все болезненные явления... на окраинах нашего духовного царства». «Война и мир» станет «настойною книгою каждого образованного русского, классическим чтением наших детей, предметом размышления и получения для юношей». Появление «великого произведения» графа Л. Н. Толстого – залог того, что «поэзия» опять займет «подобающее ей место, сделается правильным и важным элементом воспитания» всего общества. Книга Л. Н. Толстого будет «питать приверженность к прекрасному идеалу», «к идеалу простоты, добра и правды» [36, с. 358].

Изучение Толстого уточняло представления Страхова о национальной идентичности: «Мы, русские, вообще – люди серьезные и не любим ничего внешнего, никакой риторики, никакой шумихи и высокопарности. Для нас кажется лишним всякий избыток в проявлении внутреннего чувства». «Мы – народ скептический и насмешливый и вместо того, чтобы находить наслаждение во внешнем излиянии внутренних движений, готовы подсмеяться даже над самым искренним и истинным их выражением». В этом проявляется и некоторая душевная «стыдливость», то есть постоянная «боязнь профанировать свои чувства», что позволяет сохранять в душе «огромный запас энтузиазма», но и обнаруживается неверие в «действительную силу душевных движений». При таких колебаниях можно быть удовлетворенными «только совершенною правдою и простотою

как в жизни, так и в художественных произведениях». Эта «коренная черта нашей литературы» – требование правдивости – «с большою силою» отзывается в произведениях Л. Н. Толстого. Его произведения «с поразительной яркостью рисуют нам душевную пустоту, которою страдают русские люди и которою они, без сомнения, еще долго будут страдать». Толстой стремится «отыскать истинно живые явления в душах людей». И «это упорное искание красоты и жизни» есть «анализ, рассечение», чтобы добраться «до живых частей» и отбросить «мертвые» [38, с. 242–243].

«Анна Каренина» же представляется Страхову нравоучительным и редким его романом о страсти любви, о нечистоте этой страсти, как «введение к рассказу Чем люди живы». Лишь в минуты потрясений и болезни совершаются «сознательные проблески чисто духовных начал» у Карениной и ее мужа (у больной после родов Анны и Каренина, прощающего Вронского). Толстой «с ужасающею правдою» показал «этот мир полной слепоты, полного мрака». По контрасту представлен «гораздо более светлый, мир Левина, человека искреннего, простого, со многими недостатками, но с чистым сердцем», «просто русского человека без готовых теорий». Наилучший представитель «умственного брожения», Константин Левин, вечно умствует о самых общих вопросах. Это «расположение к умствованию есть чисто русская черта» [33, с. 410]. Вообще «вечные вопросы у нас волнуют обыкновенных людей и при обыкновенных обстоятельствах», «совершается какое-то колебание человеческой совести, заражающее целые толпы всевозможных людей, конечно, из образованных классов». Левин нашел спасение «в религиозных мыслях», но Анна не знала даже, где искать спасения. Это отсутствие нравственности, изображение «общего душевного хаоса, господствующего во всех слоях, кроме самого нижнего», и показано в романе [33, с. 412].

Насколько, однако, эти оценки романа расходятся с восприятиями великодержавника К. Леонтьева, который сомневается, какой из двух романов Л. Толстого, благодаря которым писатель поднялся «выше всех романистов нашего времени», следует предпо-

честь. Конечно, если речь идёт об эпохе, то задача «Войны и мира» «выше», а содержание «грандиознее»: «Великое время народной войны, эпоха, неизгладимая из памяти русской», увековечена «крайне реальными, внушающими полное доверие, и чувствами идеальными, нас возбуждающими к лучшему», но «чрезвычайно похвально и современнее нам высшее русское общество» изображено «наконец-то по-человечески, то есть беспристрастно, а местами и с явной любовью». Не Левин – его главный герой, который не внушал ему доверия, а «блестящий военный» высшего круга флигель-адъютант Вронский, ибо без Вронских «мы не проживём и полувека», без которых не будет и национальных писателей, и «самобытой нации», и, надо думать, невозможно было бы «увековечить в памяти потомства годину всенародного героизма» [39, с. 556–558, 560].

Всё тот же «нравственный хаос», по Страхову, очевидно, есть главный предмет «Братьев Карамазовых», где изображена «душевная шалость, доходящая до крайних пределов», будто автор задался «мыслью о так называемой ширине русской природы, об этом поразительном сочетании в той же душе великого добра с великим злом, о готовности в одно время и к подвигу, и к злодеянию, о равной способности и всем жертвовать, и все попать» [33, с. 413, 414]. «Анна Каренина» и «Братья Карамазовы» указывают «на религию как на выход из хаоса и отчаяния» [33, с. 414–415].

Страхову ясно: «Человек есть существо религиозное». «У очень многих религии нет, а религиозная потребность жива. Люди, обеспеченные материально, огражденные от всех опасностей, тонко развитые, но не видящие перед собою ничего святого... начинают мучиться страшным душевным голодом... пока они не возведут чего-нибудь в идеал, не дадут исхода своей потребности энтузиазма и самопожертвования. ...А между тем действительные идеалы все тускнеют и тускнеют. <...> У нас эта болезнь духовного развития отражается может быть яснее, чем она видна в самой Европе, её источнике» [40].

Уже как публициста Страхова не могло не привлечь восстание 1863 г. в Польше, которое, считал он, встряхнуло общество – и «мы встретились лицом к лицу со своим на-

родом и своей историей». Перед ним встал вопрос о национальной идентификации обоих народов. «В лице поляков мы встретились с чувством исторической национальности, с чувством, доходящим до сильнейшего напряжения, воспламенённым до отчаянного фанатизма». Вооружённый конфликт породил с обеих сторон «самолюбие» и «гордость», само «чувство народности было зажжено в нас вспышкой национальных и исторических притязаний поляков». Тогда и мы тоже вспомнили свою историю, чтобы осмыслить «наши права, наши надежды, нашу веру в свою будущность». Смысл и значение этих событий «с нашей народной, с нашей исторической точки зрения» для Страхова заключался в сохранении империи: «Перед нами совершалась и совершается судьба народа, с которым давно и тесно мы связаны самой историей. Для этого народа всего лучше, всего разумнее и выгоднее было бы отказаться от своей истории, разорвать с ней связь и начать новую жизнь». Так он отвечал «на гордость гордостью», и надменностью «на надменную мысль, что поляки – будто бы представители западной цивилизации», русские же «призваны историей для исцеления польского народа от его вековых болезней». Соглашаясь с тем, что «для поляка отказаться от своей истории точно так же невозможно, как невозможно человеку отказаться от своего лица, от своих глаз и своего носа», Страхов признавал отличия двух культур – несмотря на их «духовное родство» шла борьба между «одной медленно развивающейся и более крепкой» и другой «более ясной и блестящей, но и более хрупкой». Надменность и высокомерие поляков он объяснял ранним знакомством с Западом, противославянским развитием, ибо они стали смотреть на «народ западной России как на простой материал для своей цивилизации, как на грубую глину, которой форма от нее самой не зависит». Однако полагал: «Наша культура, хотя менее развитая и определенная, носит в себе залог такой крепости, такого глубокого и далекого развития, каких, может быть, не имеет никакая другая культура» [41]. Оценивая характер польского восстания как аристократический, шляхетский, Страхов подчёркивал и другой его социальный смысл: оно «не столько против

русских, сколько против русского крестьянского дела» и связано с освобождением крестьян Западного края России и с «освобождением от полонизма». Оттуда доносятся «смирненные просьбы об удовлетворении самых священных, самых непререкаемых потребностей человеческих»: «по-русски учиться и по-русски молиться», чтобы мы «помнили свое родство с ними, не отвергали бы их как чужих, не отдавали бы их, беспомощных и истощенных, на жертву всякому лукавству и насилию чужого племени», ибо «все их желание и надежда – быть своими среди своих, быть русскими в России». Это обстоятельство даёт преобладанию над поляками некоторое нравственное преимущество. По мнению Страхова, «тесная связь поляков с Западом была для них гибельна, а в России «умственная борьба с идеями полонизма» явно запоздала и «главным плодом современного перелома» станет осознание нашей народной самобытности. Это же поднимало вопрос об отношении к западной цивилизации, которая есть «дело великое и прекрасное», но только «взятая в целом», как «нечто самобытное, органическое, глубоко растущее своими корнями в землю», и перенять на себя «ее силу, ее крепость и глубину» невозможно. «В целом она все-таки остается для нас чуждою» [41]. Его очень удручало, что в России мало образованных людей, первым же признаком образованности являлось свободомыслие, самостоятельный взгляд, но в ней «больше, чем где-нибудь, господствует полуобразование», отсюда «дешевый скептицизм, копеечное, лакейское критиканство» «мнимых образованных людей», для которых осуждать и подсмеиваться – «средство не попасть впросак, не показать своей наивности и сохранить за собой вид человека, много понимающего». Эти люди «оторвались от почвы», их тянет к себе французский язык, европейские нравы, иноземные идеалы – «и от своих отстали, и к чужим не пристали». Вот и получается, что «Россия жива, крепка и цела своим народом и всем тем, что еще оказывается народного в ее высших классах» [42].

Итак, оба мыслителя и критика, Григорьев и Страхов, выразили своё понимание русской идентичности. Лицо народа конкретно отразилось в типах, которые органи-

чески выростали «на корне национальности». Именно понятие типа стало у Григорьева «руководящей категорией для постижения национальности в ее конкретном культурно-историческом существовании». Одновременно в теме «верхов самостоятельного народного развития», «передовых слоев народа» происходило теснейшее слияние темы народности и темы личности, национализма с персонализмом. Григорьев ставил вопрос о ведущем значении личности, о ее передовом положении в борьбе за народность. Для него искание своей народности составляло характерную особенность всех замечательных русских людей [9].

Воспринимая литературу как самый чувствительный инструмент познания общества, народа, человека, критики определяют дух народа прежде всего по художественным произведениям.

Григорьев и Страхов сознавали свою национальную идентичность и своей мыслью утверждали и доказывали это, чем вносили вклад в развитие русского самосознания, уверенные в том, что литература, национальные писатели и являются главными носителями самоопределения нации.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Леонтьев Константин*. Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве (Письмо к Ник. Страхову) // Полн. собр. соч. и писем : в 12 т. – Т. 6 : Книга первая. Воспоминания, очерки, автобиографические произведения 1869–1891 годов. – СПб. : Владимир Даль, 2003. – С. 8, 12, 14, 15, 19.
2. *Страхов Н.* Из воспоминаний об Аполлоне Александровиче Григорьеве // Эпоха. – 1874. – № 9 ; Собр. соч. – URL: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_1874_o_grigorieve_oldorfo.shtml.
3. *Григорьев Аполлон*. Западничество в русской литературе, причины происхождения его и силы. 1836–1851 // Григорьев Аполлон. Эстетика и критика / вступ. ст., сост. и примеч. А. И. Журавлёвой. – М. : Искусство, 1980. – 496.
4. *Григорьев Аполлон*. Мои литературные и нравственные скитальчества // Собр. соч. – URL: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0010.shtml.
5. *Григорьев Аполлон*. Народность и литература // Григорьев Аполлон. Эстетика и критика.
6. *Григорьев А. А.* Знаменитые европейские писатели перед судом русской критики // Собр. соч. – URL: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0350oldorfo.shtml.
7. *Григорьев Аполлон*. Белинский и отрицательный взгляд в литературе // Григорьев Аполлон. Эстетика и критика.

8. Григорьев Аполлон. Парадоксы органической критики (Письма к Ф.М. Достоевскому). Письмо первое : Органический взгляд и его основной принцип // Там же.
9. Ильин Н. Заклинатель стихий. Аполлон Григорьев и философия творческой личности. – URL: <http://www.hrano.ru/proekty/metafizik/fk25gri.php>.
10. Григорьев А. А. Лермонтов и его направление. Крайние грани развития отрицательного взгляда. Статья первая. Время. 1862. № 10 // Собр. соч. – URL: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0180oldorfo.shtml.
11. Григорьев А. А. Лермонтов и его направление. Крайние грани развития отрицательного взгляда. Статья вторая. Время. 1862. № 11 // Собр. соч. – URL: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0180oldorfo.shtml.
12. Григорьев Аполлон. И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа «Дворянское гнездо». Современник. 1859. № 1. Письма к Г. Г. А, К. Б. Статья третья // Григорьев Аполлон. Литературная критика. – М. : Художественная литература, 1967. – 632 с.
13. Григорьев Аполлон. Граф Л. Толстой и его сочинения. Статья вторая. Литературная деятельность графа Л. Толстого // Там же.
14. Григорьев А. А. По поводу нового издания старой вещи: «Горе от ума». СПб., 1862 // Григорьев А. А. Искусство и нравственность / вступ. ст. и коммент. В. Ф. Егорова. – М. : Современник, 1986. – 351 с.
15. Григорьев Аполлон. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Пушкин. – Грибоедов. – Гоголь. – Лермонтов. Статья первая // Аполлон Григорьев. Литературная критика.
16. Григорьев Аполлон. Стихотворения Н. Некрасова // Там же.
17. Григорьев А. А. Полемическая смесь о постепенном, но быстром и повсеместном распространении невежества и безграмотности российской словесности (из заметок ненужного человека). Время. 1861. № 3 // Собр. соч. – URL: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0260oldorfo.shtml.
18. Григорьев Аполлон. Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Граф Л. Толстой и его сочинения. Статья первая. Общий взгляд на отношения современной критики к литературе. Время. 1862. № 1 // Собр. соч. – URL: http://az.lib.ru/g/grigorxew_a_a/text_0220oldorfo.shtml.
19. Страхов Н. Аполлон Александрович Григорьев. Кругозор. 1876. № 12 // Собр. соч. – URL: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_1876_grigogiev_oldorfo.shtml.
20. Григорьев Аполлон. Русские народные песни с их поэтической и музыкальной стороны // Григорьев Аполлон. Эстетика и критика.
21. Григорьев Аполлон. Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства // Григорьев Аполлон. Литературная критика.
22. Аверкиев Д. В. Аполлон Александрович Григорьев [1864] Некролог. Эпоха. 1864. № 8 // Аверкиев Д. В. Сочинения. – URL: http://az.lib.ru/a/awerkiew_d_w/text_0130oldorfo.shtml.
23. Скатов Н. Н. Н. Н. Страхов (1829–1896) // Страхов Н. Н. Литературная критика : сборник статей / вступ. ст. и сост. Н. Н. Скатова, коммент. В. А. Котельникова. – СПб. : Русский Христианский гуманитарный институт, 2000. – 459 с.
24. Страхов Н. Н. Война и мир. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Томы I, II, III И IV. Издание второе. Москва, 1868. Статья вторая и последняя // Там же.
25. Страхов Н. Н. Пример апатии (Письмо в редакцию «Времени» по поводу статьи Г. Антоновича «О Почве». Современник 1861, декабрь). Время. 1862. № 1 // Собр. соч. – URL: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_06_1862_nigilizm_oldorfo.shtml.
26. Страхов Н. Н. Заметки летописца. Эпоха. 1864. Март // Собр. соч. – URL: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0380oldorfo.shtml.
27. Страхов Н. Н. Вздох на гробе Карамзина (Письмо в редакцию «Зари») // Карамзин: pro et contra / сост., вступ. ст. Л. А. Сапченко. – СПб. : РХГА, 2006.
28. Страхов Н. Н. Бедность нашей литературы // Страхов Н. Н. Литературная критика.
29. Страхов Н. Н. Нечто о петербургской литературе (письмо к редактору «Времени»). Время. 1861. № 4 // Собр. соч. – URL: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_01_1861_nigilizm_oldorfo.shtml.
30. Страхов Н. Н. Нечто о полемике (Письмо в редакцию «Времени»). Время. 1861. № 8 // Собр. соч. – URL: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_03_1861_nigilizm_oldorfo.shtml.
31. Страхов Н. Н. Спор об общем образовании (1863) // Собрание сочинений. – URL: http://az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_1863_spor_ob_obschem_obrazovanii.shtml.
32. Страхов Н. Н. А. С. Пушкин. Из книги «Заметки о Пушкине и других поэтах» // Страхов Н. Н. Литературная критика.
33. Страхов Н. Н. Взгляд на текущую литературу // Там же.
34. Страхов Н. Н. Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. Роман в шести частях с эпилогом Ф. М. Достоевского. Издание исправленное. Два тома. Петербург. 1867 // Там же.
35. Страхов Н. Н. Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. Роман в шести частях с эпилогом. Ф. М. Достоевского. Издание исправленное. Два тома. Петербург. 1867. Статья вторая и последняя // Там же.
36. Страхов Н. Н. Война и мир. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Томы V И VI. Москва, 1869 // Там же.
37. Страхов Н. Н. Война и мир. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Томы I, II, III И IV. Издание второе. Москва, 1868. Статья первая // Там же.
38. Страхов Н. Н. Л. Н. Толстой. Сочинения гр. Л. Н. Толстого. В двух частях. СПб, 1864. (Издание Ф. Стелловского). Статья первая // Там же.
39. Леонтьев К. Н. Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой // К. Н. Леонтьев. Избранное /

- сост., автор вступ. ст. и коммент. А. В. Репников. – М. : РОССПЭН, 2010. – 728 с.
40. *Страхов Николай Николаевич*. Нечто о характере нашего времени. Гражданин. 1873. № 36 // Собр. соч. – URL: az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_0460oldorfo.shtml.
41. *Страхов Н. Н.* Ряд статей о русской литературе. Статья первая. Перелом // Страхов Н. Н. Борьба с Западом. – М. : Институт русской цивилизации, 2010 ; Собр. соч. – URL: az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_1864_ryad_statey.shtml.
42. *Страхов Н. Н.* Ряд статей о русской литературе. Статья вторая. Воздушные явления // Собр. соч. – URL: az.lib.ru/s/strahow_n_n/text_1864_ryad_statey.shtml.